

СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

.....

О. А. Оберемко*

По данным массовых опросов, проведенных в России и Польше (2002 г.)¹, россияне демонстрировали устойчивую идентификацию с большим количеством социальных общностей, чем поляки. В первой части статьи изложены результаты тестирования двух альтернативных толкований полученных результатов: устойчивая идентификация со многими социально-структурными общностями (1) компенсирует нечеткость социальной разметки российского общества и неадаптированность населения к переменам или (2) свидетельствует об открытости взаимодействию с представителями различных социальных групп, социальном оптимизме и накопленном (или сохраненном) социальном капитале. В результате анализа предпочтение было отдано второму толкованию: российское общество образца 2002 г. обладало большим социальным капиталом по сравнению с польским обществом. Во второй части статьи эмпирический вывод вписывается в контекст дискуссии об итогах трансформации российского и польского обществ.

1. Социально-структурная идентификация: ресурс или компенсация?

Абсолютно безупречно с методической точки зрения обосновать, почему надо сравнивать именно Россию и Польшу, – задача безнадежная. Тем более когда с помощью массовых опросов обследуется распространенность в обществе представлений о себе. Не прибегая к гранд-нарративам о тесноте исторических связей, ограничимся лишь двумя частными аргументами. Во-первых, несмотря на почти полное забвение Польши в российском общественном дискурсе, некоторые общие проблемы, сюжеты, понятия и поляки, и россияне

* Оберемко Олег Алексеевич – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН, доцент кафедры социальной психологии и социологии управления Кубанского государственного университета. Электронная почта: ooberemko@yandex.ru.

¹ Дизайн исследования разрабатывался под руководством В. А. Ядова, Е. Н. Даниловой, К. Косэла. Подробно см.: [6, с. 221–223].

используют при осмыслении судеб своих стран [11]. Во-вторых, Польша считается наиболее динамично и успешно развивающейся страной посткоммунистического транзита, и желание сравниться с передовым образцом вполне простительно.

В анализируемых опросах социальная идентификация (Мы-самоопределения) замерялась с помощью вопроса о том, *как часто* респондент ощущает близость с перечисленными в списке категориями людей, о ком можно сказать: «Это – мы». Вопрос содержал целый веер ключевых слов – *легкость нахождения общего языка, понимание, ощущение близости*, тем самым выявлялась разметка, которую респонденты были готовы использовать при описании *своего, нечуждого, понятного, не имеющего непроницаемых границ* социального пространства. Такая широкая формулировка нацелена на выявление ценностной значимости групп и принципиальной возможности найти в них поддержку, защиту или условия для самореализации [5, с. 76–77; 18, с. 116]. При ответе на этот вопрос респондентам предлагались на выбор четыре варианта: «часто», «иногда», «никогда» и «затрудняюсь ответить». Вариант «часто» мы будем трактовать как показатель устойчивой (см. [9, с. 52]), а вариант «иногда» – как ситуативной идентификации [7, с. 13–14].

В общем порядке социально-структурных и социально-профессиональных предпочтений (табл. 1) заметно, что россияне практически по всем позициям активнее демонстрировали устойчивую идентификацию (вариант «часто»), тогда как поляки чаще выбирали ситуативную идентификацию (вариант «иногда»). Исключение составила только категория *постоянно нуждающихся*: в обоих обществах готовность понять бедного, включить его в свой мир распространена примерно одинаково.

С функционалистской точки зрения «всякое общество порождает те наборы идентификаций, которые функциональны для его развития и выживания

Таблица 1

Пространство социально-структурных Мы-самоопределений в России и Польше, %

Вопрос	Идентификация					
	Устойчивая «часто»		Ситуативная («иногда»)		Негативная («никогда»)	
	Россия	Польша	Россия	Польша	Россия	Польша
Ощущали общность с: людьми того же достатка	80	54	16	36	1	2
людьми той же профессии	64	41	23	36	6	12
коллегами по работе	61	42	21	30	8	12
постоянно нуждающимися	41	36	38	45	13	8
наемными работниками	38	20	29	41	16	21
бизнесменами	30	9	36	30	23	42

как системы. Идентичности детерминируются социальными *settings* конкретного общества, и индивиды их используют в качестве оснований для межгрупповых сравнений и ингрупповой лояльности» [27, р. 7]. Более частый выбор россиянами устойчивых идентификаций Т. Шавел объяснял тем, что «в России социальная структура более жесткая (структурные барьеры гораздо труднее поддаются разрушению), и разные измерения социальной позиции в России гораздо сильнее связаны между собой, чем в Польше» [27, р. 40].

По логике этого объяснения, причина различий в распространенности устойчивых и ситуативных идентификаций коренится в том, что российское общество менее открыто, чем польское. В России или ты «и швец, и жнец, и на дуде игрец», или ты в социальном смысле – никто, или почти никто. Обратная сторона такого положения – синкретичность, непроявленность специфических особенностей. Это вполне соответствует выводам некоторых российских социологов о невнятности социальной стратификации российского общества [24, с. 157–158], о слабой определенности институциональной среды², которая немедленно восполняется неформальными практиками³. В русле этих трактовок итоги трансформации социальной структуры российского общества следует оценивать отрицательно.

На фоне россиян идентификационные выборы поляков выглядят более гибкими и избирательными. Избирательность негативно проявляется в более уверенном отрицании общности с одними группами, а гибкость и позитивная избирательность – в более частом предпочтении ситуативной идентификации. Гибкость и открытость польского общества подчеркивается некоторыми польскими авторами. А. Рихард и Э. Внук-Липиньский пишут: «Система стала плюралистичной. Разные институты и организации (добавим: и социальные общности. – О.О.) вызывают у граждан разные ожидания. Они контролируют разные сферы их жизни и в некотором смысле имеют кусочки “власти” над нашей жизнью, но это полностью отличается от того, что было при коммунистах» [21, с. 69].

Итак, можно сформулировать гипотезу: чем с большим количеством общностей идентифицируют себя люди, тем сильнее они ощущают на себе жесткость структурных ограничений. Для проверки гипотезы респонденты были сгруппированы по количеству устойчивых идентификаций. Поскольку мы анализируем 6 социально-структурных общностей (перечисленных в табл. 1), у нас получилось 7 групп респондентов: в группе 1 оказались те, кто ни с кем устойчиво не идентифицировался (0 выборов «часто»), а в группу 7 попали респонденты с максимальным числом устойчивых идентификаций – 6.

² Развитие этого тезиса на примере институтов рынка труда см.: [13].

³ Об институционализации неформальной экономики при откладывании институциональных решений см.: [15, с. 153–154].

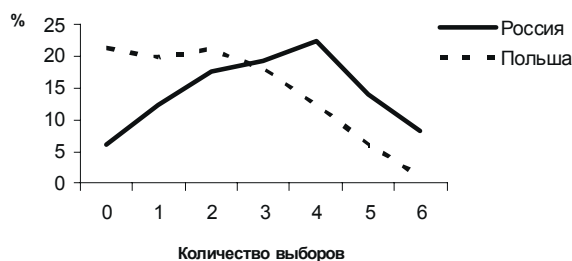


Рис. 1. Диаграмма устойчивых социально-структурных идентификаций в России и Польше

На рис. 1 представлены распределения российских и польских респондентов по количеству выбранных устойчивых социально-структурных идентичностей. Свыше 60 % поляков были готовы включить в «свой мир» представителей не более 2 социальных групп, в то время как более 60 % россиян устойчиво идентифицировались с 3 и более группами. Польский график сдвинут вправо и вниз, тогда как российский скорее напоминает колокол нормального распределения; смещенная вершина вправо показывает большую открытость социальным общностям, или, по логике Т. Шавела, большую уязвимость для социально-структурных влияний и ограничений.

Подробный анализ польских данных показал, что категории респондентов, выделенные по возрасту, полу, уровню благосостояния, интересу к политике, отношению к религии и др., демонстрировали примерно одинаковую автономность от социально-структурных групп: соответствующие распределения имеют примерно одинаковую форму скоса. У других же категорий графики больше напоминали российский «колокол». В частности, с большим количеством социально-структурных групп чаще остальных идентифицировались обладатели высшего образования, занятые (по сравнению с незанятыми), назвавшие себя обеспеченными (по сравнению с бедными), выигравшие от реформ (по сравнению с проигравшими и сохранившими свои позиции в обществе). Наконец, к «российскому колоколу» тяготеет распределение у людей с будущим, тогда как у людей без будущего график представляет собой типичный для польских графиков скос (рис. 2).

Что может объединять имеющих работу, обеспеченных, выигравших от реформ граждан, которые думают, что у них есть будущее? Если высокий образовательный уровень, занятость и обеспеченность являются лишь косвенным индикатором, то уверенность в собственном будущем напрямую связана с социальным самочувствием и адаптационными ресурсами личности [10, с. 609–610]. Поэтому предположение о том, что указанные группы объединяет социальный оптимизм, основанный на обладании важными социальными ресурсами, не выглядит слишком смелым. Становится ясно: устойчивая идентификация с большим количеством групп, выделяемых по социально-структурным признакам, означает социальный оптимизм, открытость, готовность

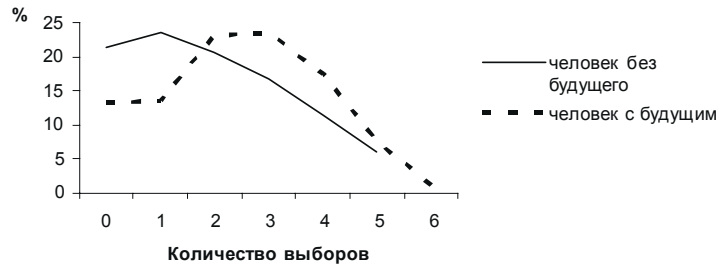


Рис. 2. Диаграмма распределения респондентов «человек без будущего» и «человек с будущим» по количеству устойчивых социально-структурных идентичностей, Польша

к сотрудничеству и достижениям за счет наращивания социального капитала в сфере трудовых отношений, сулящих материальное благополучие. Таким образом, в Польше социальный оптимизм устойчиво связывается с готовностью «осваивать» пространство сферы труда – идентифицироваться с социально-профессиональными, социально-классовыми и стратификационными группами. Это полностью соответствует трактовке К. Косэла, который считает, что Мы-самоопределения показывают связеобразующий, или связесозидательный потенциал [17].

Теперь обратимся к российским данным. Как и в Польше, в России бóльшую открытость обнаружили обладатели высшего образования, занятые, материально обеспеченные и уверенные в своем будущем. Два отличия все же обнаружилось. Во-первых, россияне среднего возраста более оптимистичны, чем представители старших возрастов; в Польше такого отличия не обнаружилось. Во-вторых, если в Польше интеллигенты оказались на обочине стратификационного пространства, то в России самое бедное идентификационное пространство обнаружилось у крестьян. Сходства и различий между двумя странами представлена в табл. 2.

Подведем итоги.

1. Преобладание в России устойчивых идентификаций означает не столько жесткость социальных структур, сколько бóльшую открытость социальному пространству и готовность вступать во взаимодействие с более разнообразными социальными группами. Российское общество обладало в 2002 г. бóльшим совокупным социальным капиталом, чем польское общество – общепризнанный лидер посткоммунистических трансформаций.

2. Даже наиболее высокоресурсные группы польского общества были более закрыты (обладали меньшим социальным капиталом), чем не самые ресурсные группы россиян.

3. Только в России «судьба ласкает молодых и рьяных»: наиболее активные среди занятого населения возрастные когорты (25–44-летние, а также учащиеся) были более открыты обществу, чем старшие когорты, тогда как в Польше

Таблица 2

Открытость/закрытость социальному пространству в России и Польше⁴

Основания для категоризации	Россия		Польша	
	Закрытость	Открытость	Закрытость	Открытость
Возраст, лет	55 и старше	25–44		
Пол				
Интерес к политике				
Категории незанятых	Пенсионеры	Учащиеся		
Образование	Не высшее	Высшее	Не высшее	Высшее
Занятость	Незанятые	Занятые	Незанятые	Занятые
Самоопределение в категориях «трехчленки»	Крестьяне	Интеллигенты, рабочие	Интеллигенты	Рабочие, крестьяне
Самоопределение по достатку	Бедные	Обеспеченные	Бедные	Обеспеченные
Выигрыш / потери от реформ				Выигравшие
Оценка будущего	Люди без будущего	Люди с будущим	Люди без будущего	Люди с будущим

все возрасты были одинаково закрыты. В особой значимости аскриптивного фактора возраста в России можно видеть косвенный показатель того, что новые поколения приобрели не только новые ценности, но и стали, по-видимому, если не более приспособленными к новым правилам игры, то, по крайней мере, более лояльными к ним⁵. Если так, то среди польской молодежи либо не произошло радикального ценностного сдвига, либо он не стал фактором большей открытости социальному пространству молодого поколения.

Другое объяснение может связывать возрастные различия в адаптивности не столько с произошедшей «культурной революцией» индивидуалистического материализма, сколько с более последовательным внедрением неолиберальных норм в России, отличительную особенность которых критики видят в более жесткой эксплуатации биологического ресурса занятого населения (см., например: [4, с. 54]). Это согласуется с выводом аналогичного российско-польского опроса 1998 г. о том, что польские реформы в большей степени учитывали адаптационные возможности граждан. В частности, польские пенсионеры (представители старших возрастных когорт) гораздо чаще (статистически значимо) демонстрировали адаптацию к своему положению, чем российские пенсионеры [10, с. 618]. В этом случае адаптивность и социальный оптимизм, по-видимому, – независимые переменные.

⁴ Пустые клетки означают отсутствие явных межгрупповых различий.

⁵ Это подтверждается большим доверием молодых россиян к власти, что регулярно фиксировалось различными опросными службами на протяжении реформ.

4. В России различие на проигравших и выигравших от реформ уже не работает; несмотря на то что в апреле 2005 г. 67 % респондентов общероссийского опроса заявили, что перестройка еще не закончилась [14, с. 59], для размещающих себя в социально-профессиональном и стратификационном пространствах россиян эпоха калькулирования потерь и приобретений от реформ, вероятно, завершилась.

2. Социальный капитал и качество социально-структурных трансформаций

Российский «колокол» выглядит оптимистичнее польского «скоса», свидетельствующего о депрессивности общественного настроения – о разрыве социальных связей. Следовательно, российское общество с бóльшим эффектом порождает «наборы идентичностей, которые функциональны для его развития и выживания как системы» [27, р. 7]. Эти выводы противоречат устойчивым представлениям о меньшей успешности российских трансформаций по сравнению с реформами в странах Восточной Европы. Разумеется, представления о процессах стратификации, описанные в терминах социальной идентификации, говорят скорее не о том, где находится общество на шкале объективных достижений, а о том, имеется ли у него внутренний потенциал для адаптации к переменам и развитию. Неприятность заключается в том, что для диагностики потенциала развития необходимо не только определение ценности, с которой мы хотим соотноситься (в веберовском смысле), но и достоверное представление об объективных общественных тенденциях.

Если в 2002 г. Россия действительно обладала бóльшим социальным капиталом, чем Польша, то что это значит? Какую роль этот капитал может сыграть в развитии общества? Если он остался почти не тронутым с тех времен, от которых мы стремимся отдалиться, тогда такой капитал служит помехой для позитивного строительства новой России. Если Польша успешно растеряла социалистический капитал, то это повышает шансы на то, что шоковые переживания – принесенные очень конкретные жертвы очень конкретными людьми, или, как сказал бы Ч. Миллс, конкретными мужчинами и женщинами – имели хоть какой-то смысл, пусть даже он и напоминает сейчас больше о журавле в небе.

Ответить на эти вопросы нелегко не только при сравнении периферийных обществ транзита по столь эфемерным показателям, как идентификация. Ф. Фукуяма, критически разбирая доказательство тезиса о «съезживании» социального капитала в США, пишет, что одним из свидетельств упадка уровня доверия в обществе считается число судебных разбирательств на душу населения. По этому показателю США – впереди планеты всей⁶. Однако интерпрета-

⁶ Как и по количеству юристов, отношение к которым напоминает отношение к работникам советской торговли — их презирали, но конкурсы в институты торговли от этого не падали.

ция зависит от отнесения к конкретной ценности: «В США имеется тенденция применять гражданский закон как замену государственному регулированию... рост количества исков... на самом деле может быть позитивным показателем социального капитала: вместо того чтобы для решения спора апеллировать к иерархическому источнику власти, частные стороны добиваются того, чтобы выработать справедливое соглашение между собой, хотя бы и при помощи легионов высокооплачиваемых юристов» [23, с. 41–42].

Одним словом, *интерпретировать смысл полученных результатов можно в контексте того, как оцениваются итоги социально-структурных трансформаций в России и Польше.*

В настоящее время общества советского типа принято определять как неклассовые, неэгалитарные бесклассовые, неклассовые этакратические, сословно-слоевые, сословно-иерархические и т.п. [22, с. 16–20] Эти определения вполне согласуются с официальной доктриной советского марксизма в том, что советские общества принципиально отличаются от индустриальных обществ западных стран. Однако теперь в пике советскому марксизму подчеркивается, что указанное отличие свидетельствует о несовременности (недомодернизованности) советских обществ, а потому его желательно преодолеть. Архаичность связывается с сословным характером советских обществ: искусственно создаваемые барьеры препятствовали развитию экономических механизмов стратификации и тормозили становление классовой структуры, обеспечившей в развитых индустриальных странах более высокие стандарты жизни. В то же время тотальное государственное регулирование хозяйственной деятельностью, препятствовавшее образованию экономических классов, не привело советские общества к социальной однородности: принесенная в жертву эффективность рыночных механизмов оказалась напрасной, поскольку неэгалитарность, иерархичность пробили себе дорогу через отношения власти.

В дискуссиях об изменении социальной структуры постсоветских обществ можно выделить два стиля рассуждений⁷. В одном стиле отчетливо прослеживается ориентация на нормативное представление об устойчивом развитии общества как системы. Этому стилю свойствен отказ от внешних эталонов, контрольных показателей и других предустановленных ориентиров «светлого будущего»; гармоничная эволюция целого, принципиальное недопущение «социальных взрывов» выступают здесь абсолютными, внеконтекстуальными эталонами.

Другой стиль рассуждений – модернизационный – тяготеет к использованию конкретно-исторических ориентиров, по которым сверяется успешность трансформаций. В качестве ориентира может выбираться прошлое состояние,

⁷ Мы не ставим цель описывать теоретические ориентации или парадигмы. Обзор теоретических подходов см.: [19, с. 409–428].

от которого следует уйти (переход, движение от...), или предсказанный образ будущего (движение к..., например, постиндустриальному, информационному и прочему обществу). Здесь рассуждения носят более технический характер, а возможность социального взрыва если и рассматривается, то с привлечением теорий, выходящих за рамки здравого смысла и простого человеческого сочувствия. Сюда можно отнести компаративистские работы, в которых ориентиры – показатели статистической нормы или, наоборот, экстремальных значений – берутся из сводок о положении в других странах, как передовых, так и непередовых. К первому стилю, по-видимому, тяготеет российский дискурс, ко второму – польский. Конечно, ответ на вопрос о том, насколько выбор стиля диктуется «объективным» положением дел, едва ли можно найти в самих дискурсах.

Оценки итогов реформ в России

Конкретизировать недостатки обществ советского типа позволяет предложенный Т. И. Заславской список индикаторов качества социальной структуры [12, с. 151–154]. Прежде всего, в советских обществах действовал единственный и главный стратифицирующий фактор – власть, тогда как западные индустриальные общества характеризуются действием множества (относительно) независимых стратобразующих факторов. Отсюда задача модернизации социальной структуры видится в том, чтобы исключить решающее влияние фактора власти и обеспечить членам общества «широкий выбор стратегий социального продвижения». Далее, специфика социально-профессиональных, отраслевых, корпоративных, территориальных и других барьеров проявлялась в том, что они затрудняли эффективное действие конкурентных механизмов восходящей социальной мобильности. Модернизация должна была, с одной стороны, привести к образованию целостного стратификационного пространства общества, а с другой – поддерживать широкий спектр ценностей и ориентиров для достижения. Преобладание системных факторов стратификации над индивидуальными ограничивали членов общества в выборе жизненных стратегий. Слабая социальная дифференциация ослабляла мотивацию потенциально активного населения к восходящей мобильности. Перечисленные недостатки приводили к потере динамизма и респонсивности институтов социальной мобильности.

При оценке хода реформ в России чаще всего упоминают следующие индикаторы качества социальной структуры. Во-первых, признается необходимым снижение депривации и эксплуатации низших слоев общества; несоблюдение этого условия ведет к недоиспользованию человеческих ресурсов и примитивизации образа жизни. Во-вторых, важным направлением в оценке итогов реформ стал поиск среднего класса – средних слоев, занимающих «не самое высокое, но относительно благоприятное положение в обществе» [12, с. 153]; предполагается, что такое положение должна была бы занимать основная мас-

са граждан. В-третьих, активно проблематизируется легитимность складывающихся социальных неравенств. В-четвертых, указывается необходимость снизить влияние на социальное продвижение аскриптивных характеристик.

О. И. Шкаратан полагает, что в результате номенклатурной приватизации и умело организованного административного рынка Россия переживает новый этап развития этакратического общества, для которого, как и прежде, характерно отсутствие внятной стратификации. Российский правящий класс, оставаясь этакратическим, освоив новые технологии управления, сумел избежать расчленения комплекса «власть – собственность», тем самым, воспрепятствовал созданию объективных предпосылок для возникновения отчетливой стратификации [24, с. 111–128].

На существенное изменение стратификационного пространства указывает Т. И. Заславская. На смену одному главному фактору власти пришло другое главное измерение – «уровень доходов и материального благосостояния». Однако помимо «главного» фактора отмечается еще «универсальный критерий» стратификации: «Решающую роль играют в значительной мере сросшиеся друг с другом оси богатства и власти. Положение на этих осях служит универсальным критерием статуса и успеха, в то время как социальные и культурные факторы играют очень малую роль» [12, с. 157]. По-прежнему, несмотря на изменения, «значительная часть граждан фактически выпадает из системы социальной стратификации, поскольку неопределенность и неустойчивость статуса препятствуют их надежному отнесению к какой-либо из существующих страт», тогда как верхушка общества, «овладевшая основными политическими и экономическими ресурсами» превратилась в олигархию [12, с. 158].

Невнятность разметки характерна и для одного из мощнейших институтов социальной мобильности, каковым является рынок труда. Однако российский рынок труда, продемонстрировав «неожиданно высокую способность к тому, чтобы гасить шоки» – в частности, за годы реформ уровень открытой безработицы в России был «неестественно» ниже, чем в других переходных экономиках, – гораздо хуже «оказался приспособлен к тому, чтобы быть проводником структурных сдвигов» [13, с. 155]. Р. И. Капелюшников пришел к выводу, что главный принцип действия российского рынка труда – адаптация без реструктуризации, а причина – в деинституционализированности российской экономики, т. е. в «отсутствии ясных и надежно защищенных “правил игры”, упорядочивающих поведение рыночных агентов и делающих его предсказуемым» [13, с. 156, 146].

По-прежнему вместе с сохранением в социальной структуре композиционного бульона наблюдается устойчивый рост дифференциации доходов, уровень которой в современной России сравнивается со странами африканского континента [12, с. 158]. Некоторые авторы даже говорят о социетальном разломе. Две России, как «расходящиеся в разные стороны социальные ветви»,

Н. М. Римашевская различает по поведению, предпочтениям и ценностным ориентациям. Частным выражением разлома стало возникновение двух потребительских рынков, кардинально различающихся ценами и ассортиментом. Опасение вызывало то, что удаление друг от друга «двух России» (18–20 % богатых и состоятельных и 60 % малообеспеченных и бедных) при отсутствии среднего класса может быть серьезным источником социальной напряженности [20, с. 59–60].

На сосуществование двух социальных структур указывает Н. Е. Тихонова: параллельно традиционной для России сословной структуре, сконцентрированной в госсекторе и приватизированных «старых» предприятиях, где «по-прежнему решающее значение имеет властный ресурс и корпоративная принадлежность», складывается классовая структура, «характерная для индустриальных обществ западного типа», в которой статус определяется положением на рынках труда и капитала [22, с. 38–39]. При этом подчеркивается, что в настоящее время единственно значимым стратификационным критерием является доход.

С позиций сетевого подхода С. Ю. Барсукова тоже обнаруживает «две России», которые она отождествляет с узловыми зонами и внеузловыми территориями. «Узловые центры являются местом локализации политических институтов, концентрации экономических ресурсов, оформления культурных кодов эпохи. Вся жизнь общества строится вокруг итерационного согласования интересов ограниченного количества узловых центров. Их специфика состоит в том, что, определяя жизнь России, они в свою очередь принадлежат мировым сетям. Внеузловое пространство делегирует свои экономические и политические ресурсы узловым центрам, получая взамен опосредованную приобщенность к культуре и товарам мирового рынка» [1, с. 97–98]. Пространственная сегрегация пронизывает всю социальную структуру, что проявляется и в характере неформальной макроэкономики, и в экономических и социокультурных смыслах поведения в домашнем хозяйстве [1, с. 99–114].

Л. Н. Беляева, указывая на динамичные изменения в критериях социальной стратификации, на исходе 10 лет постсоветского развития обнаруживает гибридный этатократический (с одномерной социальной структурой) и классовый капиталистический общества («где действует множество факторов и критериев, определяющих положение группы и индивида в социальной стратификации») [2, с. 24, 33]. Главный итог трансформаций – в «формировании стратификационной системы, в которой люди различаются объективными экономическими условиями существования, определяемыми отношением к средствам производства», т.е. в появлении «чистых типов» экономических классов – класса собственников и класса наемных работников». В духе марксистского определения классов автор размещает частных собственников и наемных работников «на разных полюсах социальной иерархии», замечая, правда, что сейчас, в пе-

переходный период наличие внутри них лиц со смешанным статусом пока размывает социальные грани между ними [2, с. 89–90]. Следовательно, нужно ждать скорого исчезновения едва народившейся многофакторной стратификации. Перелистав сорок страниц назад, читатель найдет у Л. Н. Беляевой описание уже сбывшегося пророчества: к концу 1990-х гг. «преобразование институциональных основ общества... вызвало формирование принципиально новой социальной структуры и новой социальной стратификации общества, в котором произошла имущественная и властная поляризация» [2, с. 44–45]. Возникает вопрос, если новая капиталистическая Россия, пока еще сосуществующая с «Россией этакратической», является эмбрионом множественной стратификации, то почему следует ждать поляризации и откуда в этой поляризации возникло властное измерение? Наиболее простое объяснение сводится к следующему. Изменение стратифицирующих факторов произошло. Вместо одного простого властного появился бикомпонентный фактор, сочетающий власть и собственность. В поддержку этого вывода в книге Л. Н. Беляевой находится множество частных примеров (кейсов), опросных и статистических данных, которые прямо или косвенно указывают на активное присутствие административного ресурса в развитии «новой России» [12, с. 290–295].

Итак, российский правящий класс, освоив новые технологии управления, добавок к властному капиталу обрел экономический капитал, что привело к резкой, по сравнению с дореформенным состоянием, дифференциации в доходах. В результате в числе бедных оказалось больше половины населения, в том числе занятых полную рабочую неделю. По фактору власти выделились и кристаллизировались только элитные и субэлитные слои правящего класса. Внутри остального населения господствующим стратификационным измерением стал вторичный по отношению к власти и отдельный от нее критерий – критерий собственности и дохода. Средний класс отыскивается с трудом ввиду его малочисленности. Таков итог трансформаций социальной структуры российского общества.

Оценки итогов реформ в Польше

В описаниях итогов трансформации польского общества российский читатель найдет множество элементов для узнавания. Однако сходство нюансируется принципиальными различиями в оценках описываемого положения дел.

В экономическом обзоре Института исследований мировой экономики (Варшава) ситуация в польском обществе начала 2000-х гг. характеризуется как нестабильная. Процессы развития сопровождаются явными переходными трендами. Главным итогом состоявшегося транзита названы изменения социальной структуры: «структура польского общества все сильнее приобретает классовый характер». Среди основных социальных классов названы капиталисты, менеджеры, мелкая буржуазия, интеллектуалы и профессиона-

лы, «синие воротнички» и сильно дифференцированное крестьянство. Если в прошлом классовые различия основывались на власти, то теперь преобладают экономические структурообразующие механизмы. Новые классы, страты и социально-профессиональные группы, возникшие из «старых классов» и, как сказано, «других сегментов структуры», продвинулись по лестнице социальных статусов и экономического благополучия, тогда как другим слоям транзит принес утрату стабильности, снижение качества жизни и даже деградацию. В результате усиления экономической дифференциации общества расширилась зона бедности и усилилась маргинализация.

Однако важным структурообразующим фактором по-прежнему остается власть, и это мнение широко разделяется в польском обществе. Исследования механизмов и итогов приватизации в Польше показывают, что представители старого и нового (посткоммунистического) политического класса сумели конвертировать властные посты в сильные экономические позиции и войти в предпринимательский класс. Важной остается роль чиновников в управлении государственной собственностью, которое осуществляется через разного рода формально независимые от государства организации и фонды, обеспечивающие связь между сферами экономики и политики. Поэтому бизнес-элита (верхний слой класса капиталистов) состоит из «нормальных капиталистов» и обладателей политического капитала.

При этом приводятся два решающих аргумента в пользу того, что соотношения властного и экономического стратообразующих измерений изменилось в пользу последнего. Во-первых, выделился высший слой самых богатых людей, в который входят топ-менеджеры крупнейших компаний, особенно с преобладанием иностранного капитала. Во-вторых, парламентские и правительственные круги, представители региональной и местной власти, будучи «ключевыми бенефициарами» приватизации, вполне ощутили, какие выгоды им сулит переход в бизнес-сообщество. Владельцы малого и среднего бизнеса названы ядром «нарастающего среднего класса», однако «этот процесс только развивается» (в отличие от формирования класса крупных капиталистов). Месте с тем перспективы у нарастающего среднего класса не радужные: «В будущем образование и знания станут более важными на рынке, чем ведение собственного малого или даже среднего бизнеса» [26, р. 158–161]. Напомним, что это написано о Польше. Не о России.

Х. Доманьский считает, что в Польше уже на первом этапе появления рыночного общества «экономический» капитал уступил путь капиталу специального знания и экспертности профессионалов. Менеджеры и специалисты (интеллигенция) «поднялись в иерархии доходов в первой половине 1990-х и сохраняли высокое положение до 1999 г.», а хозяева небольших фирм испытали за этот же период взлеты и падения и в итоге оказались в худшем положении [8, с. 30]. Приведенные данные показывают, что властный ресурс (позиция) и

образование более надежно гарантировали материальное благосостояние, чем малый и средний бизнес. В 1995–1998 гг. менеджеры и высшие чиновники государственного управления были самой экономически преуспевающей группой польского общества: их доходы превышали доходы занимавших 2-е и 3-е места нетехнической интеллигенции в 1,3 раза и собственников в 1,4 раза. При этом откат в развитии польского предпринимательства создал условия для возвращения едва народившихся мелких и средних собственников в лоно государственной экономики. «Внезапный рост прибыльности бизнеса стал семенем столь же внезапных потерь; потребители насытились, и клиентов нечем было завлечь. С ростом числа частных фирм все ниши заполнились, доступ к кредитам стал жестче. Многие собственники начали всерьез думать о свертывании бизнеса и поиске работы в госсекторе» [8, с. 44–45].

Предсказание о возрастании фактора знания на рынке соответствует ожиданиям ведущих представителей теории модернизации – Д. Белла, К. Гелбрейта, П. Друкера. Надежды на формирование массового среднего класса связаны не с мелкими собственниками, а с «мощным спросом на высококвалифицированных специалистов сферы нефизического труда» [8, с. 31]. Вопрос о том, может ли «новый» средний класс стать настолько массовым, чтобы вобрать в себя большую часть населения, остается за скобками.

Итак, критерий власти в польском обществе, хотя и утратил былые позиции, все же, как и в России, остается важным стратообразующим фактором. Однако это обстоятельство не приводит польских авторов, в отличие от их российских коллег, к пессимистическим выводам.

Правда, Х. Доманьский подчеркивает, что занятие контролирующих позиций отражает опыт и ответственность управленцев. Выигрыш в доходах – это «цена организаторских умений, способность принимать нужные решения», оправданная расходами, которые приходится нести человеку, занимающему руководящую позицию [8, с. 42]. Отсюда делается общий вывод: устойчивая положительная связь между образованием, контролирующей позицией и доходами свидетельствует о появлении меритократии в Польше. Тогда почему мы должны ожидать ослабления фактора власти в России?

Возможность подобного вывода, по-видимому, связана с другим индикатором качества социальной структуры – с легитимностью неравенства. Позитивная связь между доходами и позицией на рынке труда наблюдается и в России, однако отказ возникшим неравенствам в легитимности мешает видеть в ней свидетельство меритократии. При этом в Польше тоже не все однозначно. Х. Доманьский пишет: «Люди готовы мириться с неравенствами, которые считают справедливыми. Они скорее одобряют краеугольный камень западного либерализма – равные возможности и меритократию. Общество стало более экономически стратифицированным и меритократичным» [8, с. 42]. Как видим, вывод об утверждении меритократии в польском обществе соседствует с

указаниями на то, что в социальной структуре не произошло ни радикальных композиционных изменений, ни выравнивания возможностей для восходящей мобильности [8, с. 30]; даже напротив, резкое усиление экономической стратификации (дифференциации в доходах) сопровождалось консервацией низших страт и появлением в Польше новых бедных [16, с. 183; 26, р. 158, 164].

Таким образом, оценка итогов трансформаций задается не столько влиянием власти на процессы стратификации и наличием или отсутствием имущественной дифференциации, сколько признанием легитимности и власти, и дифференциации. Похоже, что выводы из описаний динамики социальной структуры определяются выбираемыми для обзора пространственными и временными горизонтами. Гуманистический взгляд, обращенный внутрь общества, и в России, и в Польше находит похожую безрадостную картину. Точнее сказать, картины, может быть, и разные, но дескрипторы очень похожи.

Надежду увидеть позитив в происходящих трансформациях оставляет только сравнение с внешним миром: догоняем или отстаем? Выбор ориентира связан с осмысленностью перспективы развития страны и возможностью ее легитимации. Сравнение появляется там, где наблюдатель-эксперт видит смысл вписывать объект своего рассмотрения в более широкий мир подобных объектов. Чтобы межстрановое сравнение обрело какой-то смысл, управляющий класс должен легитимировать, в том числе оправдывать, свое право на власть упомянутыми Х. Доманьским организаторскими умениями и способностью принимать нужные решения. Если этого не получается, от сравнений приходится отказываться, а взамен ограничиваться внеисторической идеей устойчивого развития или пускаться в поиски национальной самобытности.

В нашем случае аккумуляция социального капитала, казалось бы, должно безусловно радовать. Однако в последние годы неожиданно выяснилось, что «положительно оцениваемые процессы (рост ВВП, инвестиции в экономику и в человеческий капитал, *рост социального капитала* (курсив наш. – О.О.), усиление социальной защиты и т.п.) ведут к общественно негативным результатам» [3, с. 138]. То есть накопленные преимущества являются тормозом для дальнейшего развития, если это развитие связано с формированием принципиально новых структурных измерений.

Мы вернулись к поставленному вначале вопросу: как относительно высокий интеграционный потенциал российского общества можно трактовать в свете произошедших социально-структурных изменений. Рассуждая с позиций детерминистской (структурно-функционалистской) логики, мы сделали вывод о том, что, поскольку российский «колокол» выглядит оптимистичнее польского «скоса», российское общество с большим эффектом порождает «наборы идентичностей, которые функциональны для его *развития и выживания* (курсив наш. – О.О.) как системы» [27, р. 7]. Однако в ситуации коренной смены приоритетов (когда стадо поворачивает, паршивая овца оказывается во

главе) накопленные преимущества могут быть хороши именно для выживания, для адаптации, но не для развития. Это не означает, что развитие непременно требует до основания разрушать привычные социальные формы. «Если простая (ортодоксальная) модернизация означает, по сути, сначала разукоренение (desembedding), а потом переукоренение (re-embedding) социальных форм посредством индустриальных социальных форм, то рефлексивная модернизация означает сначала разукоренение, а потом переукоренение индустриальных социальных форм посредством другой современности (modernity)» [25, р. 2].

Здесь уместно вспомнить диагноз, который ставит Р. И. Капелюшников российскому рынку труда, – более успешная по сравнению с другими странами транзита адаптация, но без реструктуризации. Именно так, отказываясь от структурно-функционалистской интерпретации, столь высоко оценивающей баланс и гармонию, можно трактовать бóльшую готовность россиян, по сравнению с поляками, определять себя в терминах привычной социально-структурной разметки. Россияне адаптировались к переменам, и именно лучшая адаптивность предотвратила структурную модернизацию. Чем больше изменений, тем очевиднее, что ничего не меняется.

Библиографический список

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: Экономико-социологический анализ. М.: ГУ–ВШЭ, 2004.
2. Беляева Л. Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. М.: Academia, 2001.
3. Бородкин Ф.М., Кудрявцев А.С. Человеческое развитие и человеческие беды // Мир России. 2003. № 1.
4. Вихтерих К. Женщины в условиях глобализации. М.: Звенья, 2005.
5. Данилова Е.Н. Изменения социальных идентификаций россиян // Социологический журнал. 2000. № 3/4.
6. Данилова Е.Н. Через призму социальных идентификаций (Сравнительное исследование жителей России и Польши) // Россия реформирующаяся: Ежегодник-2004 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2004.
7. Данилова Е.Н., Ядов В.А. Неустойчивая социальная идентичность становится нормой // Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Краснодар: КубГУ, 2004.
8. Доманьский Х. Появление в Польше меритократии // Социологические исследования. 2002. № 6.
9. Дробижева Л.М. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хопфа. СПб.; М.: Европ. ун-т в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2003.
10. Дудченко О.Н., Мытиль А.В. Две модели адаптации к социальным изменениям // Россия: Трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001.

11. *Зарицкий Т.* Польша и Россия: образ Другого в конструировании Своей идентичности // ЧСУ. 2006. № 2.
12. *Заславская Т.И.* Современное российское общество: социальный механизм трансформаций. М.: Дело, 2004.
13. *Капелюшников Р.И.* Российский рынок труда: Адаптация без реструктуризации. М.: ГУ ВШЭ, 2001.
14. *Климов И.А.* Другая жизнь эпохи перестройки // Человек. Сообщество. Управление. 2005. № 2.
15. *Колодко Г.В.* Глобализация и перспективы развития постсоциалистических стран. Минск: ЕГУ, 2002.
16. *Коровицына Н.* С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития. М.: Алгоритм, 2003.
17. *Косэла К.* Сравнение распространенности, важности и связеобразующего потенциала идентификаций в России и Польше: Рукопись.
18. *Наумова Н.Ф.* Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? М.: Эдиториал УРСС, 1999.
19. *Радаев В.В.* Экономическая социология. М.: ГУ–ВШЭ, 2005.
20. *Римашевская Н.М.* Социальные последствия экономических трансформаций в России // Социологические исследования. 1997. № 6.
21. *Рихард А., Внук-Липиньский Э.* Источники политической стабильности и нестабильности в Польше // Социологические исследования. 2002. № 6.
22. *Тихонова Н.Е.* Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. М.: РОССПЭН, 1999.
23. *Фукуяма Ф.* Великий разрыв. М.: АСТ; Ермак, 2004.
24. *Шкаратан О.И.* Российский порядок: Вектор перемен. М.: Вита, 2004.
25. *Beck U.* The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization // Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994.
26. Poland: International Economic Report 2000/2001. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2001.
27. Social identities in transforming societies: Russia and Poland: Unpublished paper / E. Danilova et al. Warsaw; Moscow, 1999.